

ПОХОРОНЫ

Обычно на поминках, родного человека схоронив, его близкие невольно, но чувствуют облегчение.

Позади долгие ли, короткие дни болезни, смерть, трёхсуточное бдение, хлопоты, потом – кладбище, горькое прощание. На поминках будто всё отгорает, притупляется боль. И, оглядывая людей, стол поминальный, близкие думают уже о том, что, слава Богу, всё обошлось по-хорошему: как положено покойника обрядили и обед поминальный удался – не в чем себя упрекнуть.

Не так получилось на хуторе Малый Колодезь, в доме старой Дизелихи, умершей три дня назад в такой же, как нынче, январский метельный день.

Поминальный стол устроили в горнице. С кухни, от печи Дизелихины дочери носили тарелки с борщом, роняя в горячее варево слёзы. За столом, даже после второй рюмки, ели молчаком, вздыхая, и быстро разошлись, оставив в доме двух дочерей старой Дизелихи, тоже немолодых, вдовых, да соседа, мужика по кличке Гулый, не больно путёвого, хотя всё вроде было при нём: руки-ноги. Но вот прилипло ещё смолоду – Гулый. Значит, с изъяном.

По-зимнему, по-ненастному быстро стемнело. В низкой хате весь день горел свет. По окнам шуршала метель. Последними уходили свои да родные, дочерей покойной успокаивая: «Не переживайте... Завтра, завтра уж...»

В доме – лишь дочери да Гулый. Он выпил и тоже говорил:

– Завтра... Завтра с утра лично сам пойду в Большой Колодезь прямо к утреннему наряду. Бульдозер на ходу. Дадут. Гарантия. Дело такое – похороны. Тем более – почётная колхозница. Лишь скажи – Дизелиха. Дадут, никаких разговоров. Наряд – в восемь. Председатель к сроку приходит, и я – как штык. Пригоню, схороним, как положено. А вас никто не осудит. Стихей. Погода разорилась.

Пожилые, но ещё крепкие дочери Дизелихи, похожие на покойную мать – приземистые, широкие в кости, – мыли посуду, слушали и вздыхали, не держали слёз: «Да как же она одна... В степи...» Гулый возле них кружился, выходил на улицу курить и возвращался с известием:

– Метёт. Но вы не горюйте. Вашей вины нет. Завтра в шесть часов. – Он добавлял поминальную чарку-другую, особо не пьянел, лишь говорил больше: – Схороним. Такого человека не схоронить... И не ревите, не горьтесь. Стихей. С Богом не будешь судиться.

Старая Дизелиха померла три дня назад, прожив на белом свете семьдесят лет и три года. Умерла она легко, считай, в одночас, не болея. А вот с похоронами получилось неладно.

Нынче, как и положено, во второй половине дня повезли покойную на кладбище, но схоронить не сумели. Всю неделю сыпал и сыпал снег, мело. А кладбище лежало от хутора на отлёте, да ещё на бугре. Трактор «Беларусь» с тележкой, на которой гроб везли, лишь съехал с асфальтовой дороги – и застрял. Бился, бился и сполз в кювет, вовсе зарываясь в снегу. Пригнали ещё один трактор-колёсник, но к кладбищу так и не пробились. А гусеничные тракторы да

«Кировцы» – техника могучая, нынче только на центральной усадьбе, в Большом Колодезе, за пятнадцать вёрст. Темнело. Поднимался буран. Назад же, к дому, покойника везти не положено: грех и примета дурная. Пришлось оставить гроб там, где застряли: на окраине хутора, в тракторной тележке, в придорожном сугробе.

Оставили. А поминальный обед прел на печи: борщ да мясо с картошкой, пышки с каймаком, сладкий взвар. Хочешь не хочешь, а надо поминать.

– Слезы не точите, – твёрдо говорил Гулый сёстрам. – Утром пойду к наряду и трактор пригоню.

На воле мело, секло по окнам, гудело в трубе.
Ой да горькая наша мамушка,
Ой да как же ты там одна лежишь,
Посреди степи, посреди пурги... –

запричитала одна из сестёр, а следом заревела в голос другая:

Ой да родная ты наша кровиночка...

Пожилые, седые, морщинистые, они сели на скамейку возле окна, глядели во тьму, в снежную невидь и голосили:

Ой да обрядили тебя в тонкую рубашечку,
Да одели тебя в лёгкую платицу,
Да положили тебя в холодную кроватушку,
Думали, будешь в могилке ночь ночевать,
Там укроет тебя родная земляшка,
Укроет земляшка, да пуховый снежок укутает...
А получилось-то не по-нашему...
Не по-нашему, не по-доброму.
Ты лежишь одна, всем открытая,
И лихим людям, и диким зверям...

– Какие ещё звери? – не выдержал Гулый.
– Да ныне люди хуже зверей. Пьяный какой дурак.
– И волков много. Прыгнет в тележку.
– Крышку хорошо прихватили, – успокоил Гулый. – Не скинет.
– Не скинет, а будет сидеть. Грызть зачнёт. У них зубищи-то...
Слезы полились в четыре ручья.

Ой ты горькая наша жалюшка...

– Не ревите... Ради Христа... – сказал Гулый. – Пойду и погляжу. Попроведаю. Ружьё возьму и пойду.

Ружьё у него и вправду было. Зайцев стрелял.

– Заблудишься...

– Ну да... Либо лес густой?..

Одевшись по-зимнему – валенки, телогрейка да ватные штаны – и выйдя на волю, Гулый особого холода не почувал. Ветер мягко толкал в спину. Перед глазами – сплошная белая муть земли и неба. Шуршит и шуршит снег. Повернёшься – сечёт лицо. Дорога заметена в колено. Близкие хуторские дома ещё видны серыми тенями. Ветер гудит в деревьях.

На хуторском магазине, над входом, тускло горит фонарь. Словно бабочки на огонь, на фонарь и мимо несётся нескончаемый белый рой. С крыши метёт, раз за разом обрушивая волны

снега. За магазином два дома брезжат тусклыми, красноватыми зрачками. Дальше – степь. Дальше – белая муть. И ничего кроме.

Ветер мягко толкает в спину, словно гонит. Лишь ноги переставляй. Телеграфные столбы вдоль дороги еле видны. А холода нет, его не чувствуешь.

Тракторную тележку с гробом Гулый пропустил, не заметив её. Загудел и завыл ветер в придорожной лесополосе. А значит, дорога к кладбищу мимо прошла. Пришлось повернуть назад.

И вот тут он почувал метель, а скорее – буран. Именно почувал, потому что видеть, глядеть было нельзя. Вихристый ветер резкими снеговыми порывами больно сёк лицо, забивая глаза словно мокрой порошью. Лицо разом дубенело, ресницы смёрзлись. Дышать было трудно и больно, летучий снег забивал дыхание. И, десяток шагов не пройдя, Гулый повернулся к ветру спиной, чтобы отдышаться и отдохнуть. Лицо горело. Ресницы пришлось раздирать, снимая наледь.

Отдышавшись, он снова пошёл, но теперь уже пробирался навстречу бурану задом да боком, прикрывая лицо рукавом, чтобы дышать и видеть.

На тележку с гробом Гулый наткнулся. С наветренной стороны её уже занесло по самый борт мягким, сыпучим снегом. Немудрено, что не заметил её.

Но всё было на месте: закрытый гроб, деревянный крест.

Гулый забрался в тележку, присел под бортом, в затишке, не сразу, но прикурил.

И, дымнув, спросил со вздохом:

– Лежишь, Матвеевна?

Под ветром, в тёплой одежде, сидеть было вовсе не холодно. Тем более с сигаркой, которая грела нутро, да ещё с лёгким хмелем в голове и теле.

– Лежишь... Ничего тебе не надо.

Гулый глядел на занесённый снегом гроб, а видел покойную, которую знал всю жизнь. Она была обряжена в смертную одежду: тёмное, в мелкий цветочек платье, ненадёванный новый платок. И лежала руки сложив. А всю жизнь была на ногах, бегучая, могучая баба.

Прозвище свое Дизелиха получила давно, после войны. Как-то мазала она колхозный коровник. Подъехал на бричке председатель с проверкой. Поглядел, как работает. С маху могучими руками вбивала она в обрешётку стены куски мокрой глины, промешанной с навозом и соломой. Кусок за куском, шматок за шматком. И каждый – в полпуда.

Только слышалось глухое: бух-бух! бух-бух! Большие руки сновали, словно маховики. Бух-бух! Бух-бух!

– Не баба, а дизель! – восхитился председатель.

Кличка прилипла.

Она и впрямь была словно не человек, а машина. Добрые люди от работы устают, отдыхают, особенно жаркой летней порой. Кислый ирян пьют, пережидают в тени зной полдневный. Дизелиха никаких передыхов да перекуров не ведала. Она сидела лишь зимой, за прялкой и вязаньем. А в тёплую пору от утренней зари дотемна, да ещё в потёмках, знала лишь перемену работы: колхозная да своя, своя да колхозная. Копала ли землю, косила траву, скирдовала солому, доила коров, кормила их, чистила базы, мазала к зиме скотьи постройки – во всякий час могучие руки да ноги её были в непрерывном движении. Ни выходных, ни проходных, ни болезней. В колхозе выходной – на своём базу дел полно. Неможется – значит, надо «разойтись до сугреву». Одно слово – Дизелиха. Лишь душа у неё была бабья, жалостливая.

Ещё одну сигарету запалив, Гулый сидел возле гроба и вспоминал давнее.

Дизелиха была ему не роднёй, лишь соседкой, но звала «сынушкой». Гулый рос сиротой, возле недужной матери, в бедности. Дизелиха увидит его за плетнём, зовёт, ласково так: «Сынушка...» Время послевоенное, голод. У Дизелихи своих двое. «Иди, сынушка, с нами покушай». «Польское» ли хлебово, с пшеном и толчёным салом, «рванцы» – галушки да «затируха», ржаная саламата с нардеком. Да ещё сунет пышку, яичко, жареных семечек, морковку, яблочко.

В иных дворах, если дело к еде, мальчонку мягко, но выпроваживают: «Ступай, ступай домой...» Дизелиха кричит через плетень: «Сынушка, поди сюда, – и к столу ведёт: – Похлебай с нами горяченького».

Теперь она лежала посреди степи, в белой метели. Сыпучий снег прикрывал её гроб.

Гулый поднялся, чуя, что начинает зябнуть. И вдруг вошло в голову: на нём – тёплое бельё, рубаха, козьего пуха «вязанка», телогрейка, и всё равно стынет. А Дизелиха – лишь в тонком платье, теперь она до самых костей заледенела. И жалко, так жалко стало старую соседку, хоть плачь.

Обратный путь к хутору, к дому покойной, был долог. Встречный ветер и снег забивали дых, глаз не открыть, сыпучий снег по колено. Но помаленьку добрался. И в тёплом доме, раздевшись, он вытряхивал снег из валенок, из карманов, из пазухи.

– Какие там волки, какие люди... – говорил он дочерям покойной. – Там страсть Божия, света не видать. Лежит... – вздохнул он. – Молчит. Не жалится. Но завтра мы её схороним. Не я буду, схороним.

Назавтра, затемно, в Большой Колодезь отправились дочери покойной, вдвоём.

– Мы по-бабьему, – объяснили они Гулому. – Покричим, поплачем. Нам не откажут. А ты пригляди за гробом, за тележкой. Ещё упрут. Ныне с живого и мёртвого тянут, а тут – дорога.

Они ушли затемно, задолго до света. Дорога тяжёлая. А к планерке надо успеть. Потом разбегутся – ищи-свищи.

Они ушли. Гулый проводил их. Кургузые, укутанные в платки да шали, сёстры торопливо, вперевалку пробирались по снегу. И сразу пропали во тьме. Впереди была белая степь, сизая ночная мгла, пятнадцать километров пути, если по занесённому снегом, но асфальту. А напрямую, через Мышков ерик и Солдатов лог, – вдвое короче. Но что там теперь, в степных логах да ериках, после метели.

Гулый остался домовничать. Он затопил печь. А потом его разморило, уснул и проснулся, когда в окошки глядело позднее утро. Не столько позавтракав, сколь похмелившись, Гулый оделся и пошёл выполнять наказ: сторожить покойную. Он сунул бутылку водки в карман, повесил ружьё через плечо. С водкой было понятно. А вот ружьё... Для серьёзного вида ли, с похмелья. Белый день стоял, волков не сыскать.

Позднее зимнее утро понемногу переваливало в ненастный день. Но хутор словно бы спал ещё в снежных замётах. В былую пору, в колхозную гудели бы теперь трактора, расчищая дороги к фермам, к гумну, амбарам. Но колхоз нынче еле дышал. Свиной да коров в Малом Колодезе не осталось. И некуда теперь тракторам да людям спешить. Да и где они, трактора?... Лишь на центральной усадьбе.

Поздним утром шёл Гулый хуторской улицей, первые следы торя по глубокому снегу.

А тележка, гроб – всё было на месте, снегом замечено с бортами вровень. Но тут уж Гулый потрудился: сначала наверху всё выгреб и вымел. Стало чин чином: гроб на старенькой ковровой дорожке, на нём – венок из бумажных цветов, крест в головах. Словно вчера, когда вынесли из дома. А потом он долго разгребал и чистил снег вокруг тележки, освобождая колёса, тележное войе, чтобы подогнуть трактор: сунул чеку – и поехали. Тут и езды-то...

В белом поле, в снегах кладбища не было видать. И в той стороне, откуда придёт подмога, тоже пустынно. Во все края лежал белый снег да низкое небо.

Все дела обделав, Гулый поднялся к гробу, сказал, обращаясь к покойной:

– Потерпи чуток. Должны вот-вот подъехать. По-тёмному ещё ушли твои дочушки. Схороним нынче, будешь ночевать по-хорошему. Потерпи.

А трактора не было. Пришлось на хутор сходить, поглядеть, как печка топится, уголька подкинуть. Соседям Гулый сказал: «Не знаешь, чего и думать, ушли по-тёмному. Может, где завалились. Кидай тут умом... Не накинешь. Был бы телефон, позвонить: дошли – не дошли».

Телефон прежде на хуторе был. Нынче вышел. Столбы, провода имелись, но аппарат молчал с осени. Говорили, вроде колхоз уже не в силах платить, а может, просто сломалось. Теперь никому не нужно, никому не пожалишься.

Он ждал и ждал, всякое в голове перебирая. С тележки глядел в сизую даль, разговаривал с покойной: «Приедут. Конечно, приедут. Схороним тебя, не горься. Будешь ныне в новой хатке своей ночевать. Там – теплочко и покойничко. Намёрзлась? – вопрошал он, чувствуя, что сам зябнет. – Скоро уж, скоро... Потерпи чуток. Ты у нас терпеливая. – Самому ему согреться было нетрудно – лишь вынуть из-за пазухи бутылку. Что он и делал, оправдываясь перед покойной: – Тоже ведь не молоденький. Зябну. А греться не пойдёшь. Велели быть при тебе. Дочушки твои приказали. Неотлучно, мол. Пригонят они трактор. Сама знаешь, ныне какой колхоз: на обе ножки хромает. Тракторов на ходу сколь осталось? Все стоят. Запчастей нет, горючего нет, – рассказывал он. – Но для тебя сыщут. Может, из последнего собирают, заслуженную колхозницу схоронить. А как же... Ты заслужила. Сколько проработала? всю жизнь. Орден Трудового Знамени и две медали. Восемьдесят лет, а ты ещё на ток ходила, зерно гребла. Бригадир призовет – ты идёшь. Такого человека, да не схоронить. Самолучший трактор пошлют! – возвышал он голос. – Скажут, всё кинь, езжай, Дизелиха ждёт. И это правильно, потому что ты заслужила. Двух дочерей воспитала, обе – труженицы, тоже на колхоз жизнь поклади. Работницы из работниц. Всяк скажет».

Так он сидел да ходил возле гроба, говорил с покойной, порою глоток-другой выпивал из бутылки, согреваясь.

Наконец показался трактор. Гул его он услышал издали. Потом увидел тёмное. Разглядел: трактор с бульдозерной навеской неторопко шёл, расчищая дорогу. Медленно, но приближался. Волочил впереди себя груды снега, оставлял её на обочине, снова грёб.

Он подъехал, с ходу развернувшись задом к тележке, чтобы зацепить её дышло. Из тесной кабины выбрались дочери покойной, и непонятно, как они там умещались, непомерно толстые, в зимней одежке, в платках.

– Слава Богу, добрались... Слава тебе Господи... Уж не думали... – запричитали они. – Как тут мамушка наша, дождалась?

– Поехали, поехали... – заторопил тракторист. – Цепляйте, и поехали.

Дочери покойной неловко, через борт, по колёсам, полезли к матери в тележку. Гулый нахваливал себя:

– Всё я расчистил, всё подготовил...

Подняв тележное дышло, он прицепил его к трактору со словами: «Трогаемся, с Богом...» – и полез было в кабину. Но тракторист остановил его с досадою:

– Погоди... Кажется, председатель.

– Молодец, – похвалил его Гулый. – Уважительный. Всё же приехал.

– Будет сейчас уважение... – пробурчал тракторист.

Председатель остановился рядом. Но, выйдя из кабины, из-за руля, он и головой не повёл на тележку, на дочерей покойной.

– Кто велел сюда ехать? – спросил он тракториста. – Кто велел? Тебе что было сказано?!

– Да вроде... Да ведь... Ревут... – спотыкаясь на каждом слове, пытался оправдаться тракторист.

Гулый вторил ему так же сбивчиво:

– Дизелиха... Другой день уже лежит, не проедем.

– Ревут... А скотина ревьёт, ты её не слышишь, – процедил председатель. – Лишь поллитры сшибаешь. Отцепляй! – приказал он.

Он стоял невысокий, тушистый, на бритом лице – отчужденье. меховая шапка надвинута на лоб, глаз не видать.

– Да рядом тут кладбище... Управимся скоро... – объяснял Гулый. – Ничем не пробьёмся.

– Пробьётесь. Чего я тебе сказал?! – возвысил голос председатель.

– Да горькая наша мамушка! – по-дикому закричала одна из дочерей.

Гулый от крика вздрогнул и сдёрнул с плеча ружьё.

Бухнул выстрел. Шапку сдуло с головы председателя.

– Ещё одна команда – и получишь в лоб, – твёрдо сказал Гулый.

– Ты... Ты... – сквозь трясущиеся губы пытался продавить слова председатель и шагнул было к своей машине.

– В трактор! – властно приказал Гулый. – Поехали хоронить. Шаг в сторону – побег. Ясно?!

В какие-то мгновения он вдруг изменился: холодно глядели глаза и слова были жёсткими, ледяными. Никогда так не говорил.

Председатель поднял шапку и полез в трактор. Гулый, с ружьём наперевес, встал в тележке, у переднего борта.

Тронулись. Могучий «ДТ» с навескою шёл не торопясь, сгребая и громоздя перед собой груды снега. Тележка катилась легко. Дочери покойной навзрыд плакали, припав к закрытому гробу. Гулый открыл его. Крышка была лишь прихвачена гвоздями. Открыл, поглядел на покойную и снова встал у переднего борта с ружьём наперевес.

Летел из-под гусениц снег, качало, но Гулый стоял возле борта, возле креста.

Добрались до заметённого кладбища. Торчали из снега зубцы забора, кресты, звёздочки пирамидок. Могильных холмиков не было видать.

Дизелихина могильная яма была прикрыта горбылем и толем. Скинули снег. Снизу пахло не холодом, а земным теплом.

Странные получились похороны. Всё молчком и глаз не поднимая: расчищали, снимали гроб, ставили возле ямы. Дочери плакали. Но о чём?

– Речь держи, – сказал председателю Гулый. – Чтобы по-людски.

Председатель было вскинулся, произнёс:

– Ты...

– Речь! – жёстко приказал Гулый, шевельнув плечом.

И председатель, набычившись, начал говорить:

– Сегодня мы провожаем в последний путь одного из старейших работников нашего колхоза... Начав свой трудовой путь в далёкие годы... – Председатель вначале говорил трудно, а потом слова покатались словно сами собой, по привычке: – В тяжёлые годы войны она с честью трудилась на трудовом фронте, заменяя ушедших мужчин. В нелёгкие годы послевоенной разрухи... и в последние годы... Таким образом, можно сказать, что вся её жизнь была отдана колхозу и людям. И мы её не забудем. Прощай...

– Траурный митинг закрываю, – объявил Гулый, – произведём салют, – и грохнул из ружья в сизое, озябшее небо.

Покойная Дизелиха ни слов его, ни выстрелов не слыхала. Она была глубоко под землёй, в тишине, покое и, наконец, в тепле. Зима нынче – словно в прежние времена: в декабре на мокрую землю лёг снег. Потом сыпало и мело. Земля не промёрзла. В ней достало тепла, чтобы согреть старую Дизелиху.

А люди живые остались наверху, в заснеженном холодном мире. Им долго ждать тепла: январь, февраль, март. И неизвестно ещё, какой весна будет.

«Новый мир», №3